

*Свидетели
эпохи*



ПАВЕЛ
ДОЛГОРУКОВ



Великая разруха

Воспоминания основателя
партии кадетов
1916 — 1926

Павел Долгоруков

**Великая разруха.
Воспоминания основателя
партии кадетов. 1916-1926**

«Центрполиграф»

Долгоруков П. Д.

Великая разруха. Воспоминания основателя партии кадетов.
1916-1926 / П. Д. Долгоруков — «Центрполиграф»,

Павел Дмитриевич Долгоруков – деятель земского либерального движения, один из основателей Союза Освобождения, кадетской партии. Выступал против применения насилия в революции и против самой революции. Летом 1917-го пришел к выводу о необходимости установления военной диктатуры. После Октябрьской революции участвовал в Белом движении, член «Национального центра». С 1920-го в эмиграции. В 1926-м для выяснения ситуации в СССР нелегально перешел границу, был арестован и через год расстрелян. В книгу включены воспоминания Петра Дмитриевича, его брата, и многих замечательных людей того времени...

Содержание

Часть первая	5
Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	18
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Павел Дмитриевич Долгоруков

Великая разруха. Воспоминания

основателя партии кадетов. 1916–1926

Часть первая

Великая разруха

Глава 1

Февральская революция. 1917 год

Осенью 1916 года у меня на квартире в Москве заседал пленарный Центральный комитет партии Народной свободы (К.-д.). Настроение тогда было тревожное. Военные неудачи. Значительная часть русской земли была занята неприятелем. Заметно было ослабление власти и ее авторитета. Распутинство, министерская чехарда. Слабость государя чувствовалась всей страной и приводила в отчаяние монархистов. Не только великие князья, но и отдельные дамы-патриотки начали подавать государю петиции и записки об угрожающем для династии положении и подвергались за это высылке. Убийство Распутина не улучшило положения, а только подлило масла. Первоисточник слабости власти и ее растерянности остался: нерешительный характер государя и вмешательство в назначения государыни. Чувствовалась возможность падения власти, и многие патриоты сознавали, что вести войну такая власть не может.

Тем-то и объясняется, что некоторые монархисты и военные, все командование армии, при первой вспышке революции высказались за отречение государя: надеялись оздоровлением верхов спасти военное положение, выправить войну, принесшую миллионы жертв, поднять дух народа и войска.

Оказалось, дела не поправили. Или оно вообще было неисправимо, или, к несчастью русского народа, вследствие несчастных обстоятельств не мог выдвинуться вовремя надлежащий вождь-диктатор. Когда осенью 1917 года появился Корнилов, было уже поздно, власть оказалась в слабых, неумелых руках, способствовавших дальнейшему ее разложению и захвату ее большевиками.

На заседании Центрального комитета К.-д. партии, о котором я говорил, то есть за полгода до революции, вследствие паривших тогда настроений и предчувствий уже поднят был вопрос, как быть, если власть выпадет из рук государя, кого русская общественность сможет выставить ее носителем.

Назвали князя Г.Е. Львова, организатора и главноуполномоченного Земского союза. Русская действительность смогла выставить лишь этого хорошего человека и работника, талантливого организатора.

Я усомнился в пригодности Львова на столь ответственную политическую роль. Я с ним работал в японскую войну, когда я был уполномоченным пяти передовых санитарных отрядов Московского земства, а он был главноуполномоченным объединявшихся тогда земств. С ним, как милым, хорошим человеком и авторитетным, талантливым организатором, было очень приятно вести дело. Но я напомнил о бывших у меня с ним разговорах в китайской фанзе, в которой мы с ним жили под Лаояном, которые затягивались до глубокой ночи и о которых упоминает в своих воспоминаниях Т.И. Полнер. В них Львов обнаружил свою политическую малограмотность и незнание конституционных терминов. Например, путая ответственность

министерства перед монархом и перед парламентом, он не разбирался в разнице между парламентским и парламентарным строем. И вообще он мне казался политически малоподготовленным и подходящим человеком. На высказанные мной сомнения меня спросили: «Кого же вы бы наметили на роль главы правительства?» Я никого не мог назвать. Помнится, что и другие никого не назвали. Таким образом, тогда у нас уже наметилась кандидатура Львова.

Не допускаю, чтобы среди полуторастамиллионного населения не нашлось в нужный момент сильного, властного человека, но русская действительность и политический строй, вероятно, не способствовали выдвижению и развитию сильных политических фигур, а хорошего человека, земца и организатора оказалось по моменту недостаточным.

Атмосфера все сильнее наэлектризовывалась, тучи сгущались. В конце февраля 1917 года я был у себя в подмосковной деревне Рузского уезда, где ранее предводительствовал пять трехлетий. Неожиданно я получаю из г. Рузы от моего бывшего секретаря записку, что из Москвы телефон сообщил: в Петербурге переворот, правительство низложено и власть перешла к Государственной думе. Собираюсь тотчас же в Москву, где застаю смятение и неразбериху и противоречащие одно другому известия. Говорят об отречении государя. Еду в Петроград. Поезд пришел в Петроград с опозданием. Говорили, что ночью на какой-то станции за Бологим стоял поезд государя. По дороге на узловых станциях садились офицеры с фронта. Тяжелое впечатление производило отобраение на петроградском вокзале у них револьверов и пашек какими-то молодыми людьми с красными бантами. Смущение и недоумение офицеров. Старый генерал с Георгиевским оружием говорит, что неприятель не мог у него отобрать оружие, которым он заслужил Георгия, почему же он должен отдать его русским, как преступник. Но никакого военного и жандармского начальства нет. Сумрачно офицеры отдают оружие. Кажется, потом им его вернули. Отсылаю багаж в гостиницу «Европейская» и еду прямо в Таврический дворец. Городовых уже нет.

В Таврическом дворце картина толчеи и сумятицы, которая уже часто описывалась. Толпа и улица завладели зданием. В думском зале уже заседают солдатские и рабочие депутаты. Члены Думы ютятся в маленьких комнатах флигеля. В длинном коридоре, ведущем к нему, еле можно протолкнуться в людской массе, идущей взад и вперед. Колонная зала и другие переполнены – солдаты, штатские. Колонны, стены и полы уже загрязнены. В большом кабинете председателя Думы – думская комиссия по приему арестованных. Несколько знакомых членов Думы сидят в ней. Все время представители «народа», рабочие, приводят арестованных городских, сановников, министров. Всех более важных арестованных направляют в министерский павильон. Некоторые министры идут со сверточками, с необходимыми под арестом вещами. Некоторые сановники приходят и сами просят, чтобы их арестовали, так как они боятся за свою участь. Не помню, кто стоял во главе дела арестов, кажется, Керенский, назначенный министром юстиции. В маленьких комнатах флигеля только что образовалось Временное правительство. Всюду видна крупная фигура Родзянко. Члены правительства постоянно ходят в колонную залу и во двор говорить приветственные речи войскам, в строе пришедшим при своих офицерах, засвидетельствовать свою верность Думе и Временному правительству. С гвардейским экипажем пришел и великий князь Кирилл Владимирович, кажется, накануне, во всяком случае, до отречения государя. Красного банта на нем не заметил. Многие члены Временного правительства и Думы охрипли от постоянных речей. Раз я пошел за Милюковым во двор. Он обходил построившуюся перед Думой часть, приветствующую в его лице новое правительство. Меня поразила уверенность и апломб, с которым он здоровался с людьми, обходя фронт, и говорил несколько слов офицерам и солдатам.

Некоторые из членов Думы и правительства в изнеможении лежали в промежутках между речами на диване во флигеле. Родственники и знакомые приносили им закуски. С Керенским случился какой-то припадок, кажется сердечный. Кажется, потом он повторялся.

Часть войск проникала в колонную залу. И там члены Думы и правительства говорили речи. Говорили и посторонние. Какой-то непрерывный митинг.

Меня уже тогда с первого дня поразило, что Дума была вытеснена из своего помещения и члены ее, как и члены правительства, ютились во флигеле. Я поздравил Родзянко с той ролью, как мне казалось спасительной, которую он с Думой сыграли, взяв власть, выпавшую из рук государя, и направив революцию в известное русло сформированием правительства. Но тогда же я ему заметил, что мне кажется, что народное представительство напрасно уступает свое помещение и позволяет себя физически оттереть на второй план. «Что же вы хотите делать, – басит он, – я и хотел настоять на своих правах, да ваш же Милюков и другие не поддержали меня и считают, что Дума не должна вступать в конфликт с солдатскими и рабочими депутатами».

И действительно, Милюков, как я потом выяснил, полагал, что Дума сыграла свою роль и, как выбранная по недемократическому закону, не может быть в такой момент авторитетна. Он настаивал на полноте власти Временного правительства и на его решительных действиях. Я не говорю о депутатах-социалистах или о таком мелкопробном демагоге, как Некрасов. Но и большинство других членов Думы было против решительных мер, недостаточно, как мне казалось, понимая, что Временное правительство должно было опираться на выбранную все-таки Думу, чтобы не повиснуть в воздухе. Родзянко и меньшинство не сумели отстоять своего мнения и уступили.

Некрасов уже много позднее, когда Совет рабочих и солдатских депутатов уже забрал большую силу, все говорил на кадетских собраниях: «Ничего, мы с ними сговоримся». Он отвратительно показал себя еще раньше в Думе, некорректно ведя себя по отношению к Милюкову и всей К.-д. фракции, и на последнем съезде партии в Петрограде я с москвичами старался провалить этого негосударственного человека и демагога при выборах в Центральный комитет партии. Но так как петроградцев и провинциалов было более, то он прошел незначительным числом голосов. Когда я убеждал Милюкова баллотировать против Некрасова, то он ответил, что ему неудобно (!), как будто он сводит личные счеты. Не более государственный был и Винавер, когда я возмущался ответом мне Милюкова: «Милюков умный человек, он понимает, что левое течение должно быть представлено в Центральном комитете». Ответ не очень-то любезный по отношению ко мне. Оказался ли он с Милюковым умным, отстаивая такого «государственного» деятеля, показала вся дальнейшая роль и этика Некрасова, бывшего одним из предателей Корнилова.

Полиция была снята. Извозчики первые дни почему-то исчезли, за исключением очень немногих. Трамваи, кажется, стали. Вскоре появились ухабы. Мне из «Европейской» гостиницы в Таврический дворец было ходить довольно далеко. В те дни часто обращались к незнакомым попутчикам с просьбой подвезти или взять в долю. Как-то я пошел от себя в Думу и лишь у Летнего сада встретил даму, ехавшую на извозчике по тому же направлению, оказалось, на Сергиевскую. Попросил подвезти. Согласилась. «Потому, – говорит, – согласилась вас подвезти, что нет у вас красного банта. И прежде не любила я придворной ливреи, но красный революционный бант мне противен». А в то время многие и из аристократов, и из гвардейских офицеров надели красные банты. Мне тоже это было противно. Как раз в эту поездку на углу Сергиевской и Литейной встретил лейб-гусара князя Л. с красным бантом. Некоторые объясняли это тем, что хотели показать, что признали переворот и новый строй.

Раз пришла в Думу, к ее президиуму, депутация от литераторов, артистов и художников, которые организовались с целью оберегать художественные ценности. Они заявили, что на Императорском фарфоровом заводе начался грабеж и что музею завода грозит опасность. Туда сейчас же было послано войско. Помнится, в составе депутации человек в десять были Шаляпин, Горький, Добужинский.

Правительство уже сформировалось. На него надеялись и военные, и правые. Как-то я обедал у двоюродного брата графа Орлова-Давыдова на Сергиевской. Обедал и великий князь Николай Михайлович. Он рассказывал, что познакомился с князем Львовым и что он ему очень понравился. «Mais il est très bien»¹, – повторил он несколько раз. Тогда хозяйка дома на него набросилась и заметила: «Да почему же князю Львову не быть хорошим? Как будто это вас удивляет. Я удивляюсь, почему вас может удивлять это». Так как это было сказано в очень резком тоне, то муж ее, указав на прислугу, сказал ей, что он не может допустить у себя в доме такого тона с великим князем. Ввиду переворота и низвержения лиц императорской фамилии с их пьедестала мне понравилось поведение Орлова-Давыдова.

Великий князь Николай Михайлович, не особенно симпатичный мне, строптивного характера, говорят, очень доблестно умер. И в предварилке он все время шутил и подбадривал других заключенных. Когда его вывели на расстрел, он отказался от завязывания глаз, скрестил руки, поднял голову и так вызывающе смотрел солдатам в глаза, что смутил многих из них и не все стреляли. Он внес своими изданиями и исследованиями такой ценный вклад в русскую историю, что справедливо, чтобы в истории была отмечена его доблестная смерть.

Раз утром пришел ко мне молодой К. Нарышкин и говорит, что его мать, мою двоюродную сестру Е.К. Нарышкину, ночью арестовали по обвинению Министерства иностранных дел чуть не в шпионаже и что она теперь находится в думском павильоне министров. Еду в министерство на Дворцовой площади к Милюкову. Министр не принимает. Объясняю, кто я. Пропускают. У Милюкова кто-то сидит. Дожидаюсь и прогуливаюсь в анфиладе обширных зал и гостиных с аляповатой казенной роскошью. В одной из комнат – маленькая фигурка А.С. Милюковой, принесшей мужу в газетной бумаге завтрак. Поговорил с ней. Приехал какой-то посол. Милюков вышел извиниться, но пришлось, разумеется, еще довольно долго ждать. Наконец я удостоился приема. Рассказываю про Нарышкину. Он слышал про ее арест. Говорит, что ее обвиняют в сношениях с противниками, в каких-то переговорах в Швейцарии во время войны. Объясняю ему, что по личным делам и семейным обстоятельствам жизнь ее сложилась так, что она почти всегда живет за границей в своем доме во Флоренции, а летом обыкновенно ездит в Швейцарию. Что дом у нее, как и раньше в Петербурге, был очень светский и у нее и у ее мужа на охоте всегда было много дипломатов, но что я не допускаю никакого шпионажа с ее стороны и что, если нет каких-либо фактических, веских улик, прошу об ее освобождении и беру ее на поруки. Милюков говорит, что дела этого он не знает и не знает, есть ли какие-нибудь доказательства, что дело ее теперь, как арестованной, за министром юстиции и что он сегодня же переговорит с Керенским. Еду в Думу, справляюсь относительно заключенных в министерском павильоне. Оказывается, что Нарышкину перевезли оттуда утром в Петропавловскую крепость, где она и провела ночь. На другой день она была освобождена. Оказывается, Керенский сам ее освободил и сказал, что никаких улик не имеется. Он очаровал Нарышкину своей любезностью.

Почти ежедневно в это время заседал Центральный комитет К.-д. партии, в котором обсуждалось предварительно много вопросов, поставленных жизнью на разрешение Временного правительства, в том числе и вопрос личных кандидатур. Засилье Совета рабочих и солдатских депутатов уже начало нас беспокоить, но, по-моему, недостаточно; левое крыло наше, особенно Некрасов, нас успокаивало. Полным же устранением Думы, кроме меня, кажется, никто не смущался. В начале же марта Центральный комитет решил, что исторические обстоятельства заставляют партию из конституционно-монархической перейти в республиканскую. У нас всегда в партии было много идеологов-республиканцев, лишь тактически стоявших на конституционно-монархической платформе в данный момент. Но раз «монархия себя изжила»

¹ Но это очень хорошо (*фр.*).

и никто не шевельнулся для ее защиты, теперь наступил момент к переходу к республике и т. д. (Последовавший съезд партии согласился с этим.)

Помню, что Милюкова в начале этого заседания ЦК не было и, когда он приехал, вопрос был уже решен. Он ничего не сказал, но, кажется, был удивлен и смущен таким решением вопроса. Кажется, ему казалось такое решение преждевременным.

Часто заседания Центрального комитета происходили у М.М. Винавера, так как его обширная квартира находилась на Захарьевской, близ Думы. Однажды мы там заседали. Входит возбужденный наш сочлен А.А. Свечин, бывший гусар, и приносит нам знаменитый приказ по армии № 1. Свечин горячится, волнуется, говорит, что необходимо принять меры к немедленному аннулированию приказа, иначе армия пропадет, война будет проиграна. Я, бегло прослушав приказ, а может быть, как штатский, не сразу понял всю его разрушительную силу, а лишь когда обсудили и растолковали его. Я даже сначала подсмеивался над горячностью Свечина. Сейчас же решили сделать все, что можно. Так как авторитетом у войск тогда, очевидно, наиболее пользовался Совет рабочих и солдатских депутатов, то послали к нему депутацию из трех человек, в том числе и меня. В Думе – обычная толчея, в зале заседания Совета рабочих и солдатских депутатов обычные митинговые речи, возмутительная безграмотная демагогия, самоуверенность и самовосхваление силы физической. Наконец дождались перерыва, ловим председателя Чхеидзе и объясняем ему в боковой комнате, бывшей нашей фракционной, весь ужас, создаваемый приказом № 1. Чхеидзе охрипшим голосом (от председательствования в таком собрании) говорит, что он понимает и разделяет наши опасения, «но что же вы хотите, я бессилён что-либо сделать, движение пошло через наши головы и зашло слишком далеко». Тогда мы поняли весь трагизм положения, искренне ли или неискренне говорил Чхеидзе. Гучков, военный министр, потом издал какой-то приказ, разъясняющий приказ № 1 и имевший его ослабить. Но последнего ему не удалось, и Свечин оказался прав в своем предчувствии.

В это время государь уже отрёкся от престола в пользу великого князя Михаила Александровича. Последний колебался. Большинство министров были против вступления его на трон. Сторонниками его явились Милюков и еще кто-то, кажется Гучков. Министерство поехало к нему. Милюков убежденно уговаривал его принять власть. Я тоже тогда был не согласен с ним. Мне казалось, что раз министерство едет для решения столь важного вопроса, то разное не должно быть, министерство должно быть солидарным, и всякое разногласие в нем, вынесенное наружу, ослабит его авторитет и силу. Потом, вопреки мнению своих товарищей по кабинету, он уговаривал великого князя принять власть. Он мотивировал это тем, что законное титуло должно существовать, что Временное правительство должно на него опереться, иначе оно повиснет в воздухе и ему трудно будет довести Россию до Учредительного собрания. Конечно, возможно, что и при Михаиле Александровиче накатившую на Россию волну нельзя было бы удержать и великого князя убили бы, но все-таки было более шансов сохранить государственность до Учредительного собрания, тогда еще казавшегося спасительным. Великий князь Михаил Александрович был соломинкой, за которую хотел Милюков ухватиться, когда Россия начинала тонуть. Я считаю, что Милюков, которого я знаю пятьдесят лет, с детства, человек кабинетный, теоретик, лишенный вообще государственного и национального чутья, в эпоху Временного правительства проявил всего более по сравнению со всей предыдущей своей деятельностью государственный разум, тогда как и более правые его товарищи как в данном случае ошиблись, так и впоследствии проявили менее его твердости и более поддавались соглашательству с товарищами по кабинету – социалистами, а через них и с надвигавшимся большевизмом.

Милюков имел мужество отстаивать кандидатуру великого князя и в колонной зале Государственной думы, рядом с Советом рабочих и солдатских депутатов. Я видел, как он, стоя на стуле среди враждебно настроенной толпы, которая кричала и угрожала ему кулаками, смело приводил свои доводы в пользу Михаила Александровича. Когда он кончил, его еле протащили

среди возбужденной толпы. Насколько он был не прав, пренебрегая опорой для Временного правительства преемственной властью Государственной думы, настолько он был прав, цепляясь теперь за авторитет преемственного возглавления государства.

В Москву я уехал в смутном, тревожном настроении. В Москве на расстоянии десяти часов от Петрограда положение казалось еще менее определенным и ясным. Москва бурлила. Я устроил собрание в театральном зале литературно-художественного кружка, вмещавшего 300—400 человек, и сделал доклад о своих петроградских впечатлениях. Зал был переполнен. Был цвет всей интеллигентско-прогрессивной Москвы, «Русские ведомости», «Русское слово», профессура, адвокаты, литераторы, артисты, политические, земские и городские деятели...

После доклада и ответов на многочисленные вопросы выступило несколько ораторов. В заключение собрание единогласно приняло предложенную резолюцию, обращенную к Временному правительству, с требованием проявления твердой власти и недопущения раздвоения власти, которая неминуемо поведет страну к анархии и кровопролитию, с требованием энергичного подавления всякой узурпации власти правительства.

Таким образом, вся интеллигентская Москва высказалась против захвата власти классовым Советом рабочих и солдатских депутатов, против уступчивости и соглашательства – за единую, твердую власть. Не помню, припоминалось ли в резолюции о необходимости сохранения Государственной думы, образовавшей правительство, как авторитета, на который оно могло бы опираться. Резолюция эта была напечатана в московских и, вероятно, в провинциальных газетах и имела целью осветить политическое положение и установить государственную позицию в обществе. Кажется, правительству были посланы резолюции и из других мест, но керенщина (да и львовщина) и, в особенности, некрасовщина не были в состоянии воспринять эти элементарные государственные истины; соглашательство и попустительство пышно расцветали.

Между тем с фронта поступали все более и более печальные известия. Приказ № 1 возымел свое разрушающее действие. Поезда уже стали приходить переполненные и облепленные солдатами. Государственная дума стала посылать своих членов, а также членов бывших Дум на фронт для беседы в войсках. Тогда еще надеялись, что речами можно задержать развал армии. Придавая первенствующее значение фронту и благополучному окончанию войны, я решился, как делегат Государственной думы, ехать на фронт.

Глава 2

Поездка на фронт. Апрель 1917 года (Начало разложения армии)

Пасху, кажется раннюю в этом году, я встретил в Москве, в Кремле на Соборной площади. Определив в Петрограде район фронта для объезда и получив от думской комиссии соответствующую делегатскую бумагу, около 10 апреля я выехал на фронт в западные губернии и на Волынь. Не только масса солдат ехала с фронта, но много еще офицеров и солдат ехали и на фронт из отпуска, после лечения. Было слышно, что деревня не особенно-то ласково встречала дезертиров и выпроваживала их вновь на фронт. Вероятно, часть их и возвращалась, предпочитая оседлый спокойный быт с пайком бродяжничеству. Разговоры с офицерами и солдатами начал уже в поезде. У офицеров замечалось уныние и скептицизм. Они с горечью указывали на встречные поезда, переполненные разнузданными солдатами, ехавшими с пением и гиканьем, иногда они с насмешками и площадной бранью встречали ехавших в нашем поезде солдат, настроение которых было сумрачное, неопределенное. И им, вероятно, не ясно было, на что они едут.

Первая часть, которую я посетил, была казачья дивизия под командой генерала Краснова, при которой работала одна из летучек отряда Союза городов, уполномоченным которого я был в 14-м и 15-м годах в Галиции. Генерал Краснов заставил меня принять парад. Дивизия была построена в каре. «Смирно, господа офицеры!» И я в сопровождении генерала обхожу каре, здороваюсь полуповоенному, в ответ на что казаки гаркают: «Здравия желаем!» Потом вся дивизия с генералом во главе дефилирует передо мной. Я каждую сотню благодарю.

Потом я спросил генерала Краснова, зачем этот парад понадобился и почему он меня, штатского человека, поставил в неловкое положение. Он мне сказал, во-первых, чтобы я видел, в каком состоянии дивизия, а главное, чтобы казаки видели, что он и офицеры подчиняются новому правительству.

Затем со специально устроенного помоста я произношу речь. Казаки стройными рядами подходят к помосту и вольно становятся вокруг. Громкое «ура!». Потом говорит генерал Краснов. Он превосходный оратор. Вновь громкое «ура!», казаки подхватывают меня на руки и несут к автомобилю. Я был поражен военной выправкой и духом казаков. От персонала моей летучки я узнал, что действительно дивизия уцелела от разложения и что парадированием в данном случае не втирались очки. Да, как будет видно из дальнейшего, другие начальники частей при всем желании уже были бы не в состоянии представить подобный парад. Я случайно попал с самого начала на наиболее, из всех виденных мною, сохранившуюся часть. Генерал Краснов – выдающийся организатор и военный администратор, как я потом убедился и в Новочеркасске в 1919 году. Он там уже в борьбе с большевиками отлично организовал донское казачество. В политическом отношении я с ним впоследствии в эмиграции разошелся, так как он придерживался партийно-монархической линии, вредной для национального объединения вообще, в частности и казачества.

При моем объезде, при начавшемся развале армии я воочию убедился, какую роль играет личность командира. Помню, в один и тот же день я посетил два полка, стоявшие на противоположных опушках одного леса, верстах в двух один от другого. В одном полку престарелый командир совсем растерялся и даже отсоветовал мне выступать, говоря, что неизвестно, как солдаты меня еще примут. И действительно, когда я с высокого пня начал говорить, то скоро из задних рядов стали слышаться замечания и возражения, мешавшие мне говорить. Вмешался было командир полка, ставший уговаривать выслушать посланца от правительства, но ему уже совсем не дали говорить, кричали, что довольно его слушались, и прочее. Я предложил воз-

ражавшим подойти, чтобы я мог каждому в отдельности ответить. Но никто не подошел. (И впоследствии я замечал, что возражавшие и смутьяны обыкновенно становились сзади, скрываемые передней толпой. А вечером, в сумерки, было труднее говорить, потому что оппозиционеры бывали обыкновенно в темноте смелее, чем днем, и дисциплину было труднее поддерживать.) Возгласы были обычные, митинговые: «Довольно повоевали, пора мир и по домам!», «Хорошо тебе говорить. Приехал из Питера, да и назад. А каково нам вшей кормить во окопах!», «Чего его слушать, будем сидеть на месте, вперед не пойдем» и т. п. Иногда постоят, погалдят и демонстративно расходятся. Офицеры в таких случаях сумрачно, потупившись, стоят. Жалко смотреть на них.

Другой полк в том же лесу. Командир – лихой кавказец, мусульманин. Команда: «Смирно!» Стоят, не шелохнутся. Я прошу скомандовать: «Вольно!» Обступают автомобиль, с которого я говорю, тесной толпой, плечо к плечу, слушают молча, внимательно. Когда, окончив речь, я предлагаю задать вопросы, то сначала спрашивают командира полка разрешения спросить меня, а потом, когда командир объясняет им, что я уполномочен правительством прямо с ними говорить, они меня забрасывают вопросами: «А как же нам говорят... как же слышно... как же понять, что пишут...», потом следуют искаженные демагогические мысли, обычные в призывах пропагандистов и социалистических газет и листовок. И в этих вопросах слышатся и сомнения, и обида: «Как же это?» И действительно, они служат, воюют, сидят в окопах, их ранят, убивают, а тут, как же это, без них – землю крестьянам делить будут? И тому подобное. Отвечаю, объясняю. Слушают внимательно, как будто понимают, иногда благодарят.

Под конец – краткое мое заключение, громкое «ура!», потом меня и командира несут на руках в штаб полка.

Вот два «митинга» в двух рядом стоящих полках; тот же самый «сермяжный» человеческий материал, но два различных командира и «товар» получился совершенно различный.

Я все мои речи начинал приветствием: «Христос воскрес!» В ответ многосотенное: «Воистину воскрес!» Потом я объяснял, что я москвич, только что из Москвы, что гул кремлевских пасхальных колоколов еще в моих ушах, что я им принес не только привет правительства и Государственной думы, но и привет и чаяния из сердца России. Объясняю, что от них чают и ожидают, значение и трудность положения, предостерегаю от ложных слухов и призывов, например от призыва вести лишь окопную войну, не двигаться вперед и т. д. Потом – беседа, ответы на вопросы. В заключение – краткий патриотический призыв и клики «ура!». Иногда – благодарность командира и «ура» в мою честь и Временного правительства. Не только по беседе, но и по слушанию солдатами моей речи сразу можно было заключить о степени сохраненности или разложения части. Я объяснял и финансовые затруднения, почему Временное правительство не в состоянии, как хотелось бы, удовлетворить все нужды солдата. В заключение моей речи мне иногда приносили фуражки, полные серебряных солдатских Георгиев, среди которых попадались и серебряные рубли для передачи правительству. Таких Георгиевских крестов я привез в Петроград целый мешок. Это был трогательный жест простых, незадуманных еще русских людей. Но не было ли тут и несознательности, недооценки значения такого ордена, как Георгий? Я, лично отнесший в Московский государственный банк в начале войны единственную носильную ценность, которую имел, – золотой портсигар, вряд ли, думается, расстался бы с такой легкостью с Георгиевским крестом.

После речи я беседовал в столовой или в штабе части с офицерами. Нечего говорить, что положение офицера было ужасное. Уже начали повсюду образовываться воинские комитеты, дисциплина заколебалась или уже рухнула, двойственность власти обнаружилась и на фронте. Жадно слушали офицеры на глухих болотистых берегах Стохода или в маленьких еврейско-польских местечках вести из Питера. Здесь все казалось еще более неясным и неопределенным. Разумеется, я им говорил не в духе московской резолюции, где была подчеркнута вся гибельность двоевластия, я старался подбодрить, утешить этих разных людей, несколько

лет в ужасных условиях воевавших, большинство раненых по несколько раз и видевших крушение воинской дисциплины и потерю своего офицерского авторитета. Я старался объяснить им неизбежность временных (!) уродливых явлений при таком государственном потрясении и т. д. Часто я замечал слезы на глазах иногда старых, седых офицеров и генералов. Они трогательно благодарили меня, просили еще посещать и передать Временному правительству, что они исполнят долг свой до конца, как им ни тяжело, но чтоб оно оберегало войско от таких-то и таких-то явлений и поддержало их авторитет. Беседа затягивалась, жаль было их покидать, но, еще раз обнадежив и подбодрив их, я прощался и спешил в другую часть, причем беседа иногда уже происходила в вечерние сумерки или даже в темноте, при свете фонарей, когда дисциплину труднее было поддержать и нарушители порядка и говоруны были смелее.

Когда подбодришь так офицеров или попадешь в не сильно еще тронутую пропагандой часть, чувствуешь, что не все еще пропало, кажется, что полезное дело делаешь. Но после беседы с разваливающейся уже частью, когда к тебе настроены враждебно, недоверчиво, когда натыкаешься на грубые ответы, а иногда и ругань, когда взвесишь всю обстановку, в которой пребывает армия, тогда становилось ясным, что все напрасно. И действительно, командование было уже тогда поставлено в ужасные условия.

Помню, во время моей речи в одном полку приехал тоже из тыла какой-то делегат, вряд ли от Думы, так как там комиссии удавалось не пропускать с поручениями на фронт членов Думы социалистов. Вероятно, это был делегат от Совета рабочих и солдатских депутатов, и несчастные командиры обязаны были допускать и их в свои части. Полк был из средних, хотя солдаты и слушали меня без энтузиазма, без «ура», но не мешали говорить и дали договорить до конца. Беседу вели недоверчиво, но не грубо. После меня начинает говорить приехавший делегат. Слышу: «Вот я, примерно, состоял рабочим на кожевенном заводе Алафузова в Казани. Завод огромный, купец богатейший. Целый день-деньской дублю в вони и грязи кожи, получаю за это гроши, а вся прибыль идет Алафузову. И так тысячи рабочих. Мы работаем, и карманы у нас вот какие. (При этом он выворачивает оба пустых кармана.) А Алафузов живет в свою сласть, только похаживает по заводу да на нас покрикивает, а карманы у него во какие! (Он жестом обеих рук показывает, как разбухли его карманы. При каждом таком жесте смех и гоготанье солдат.) Так не правильно ли я говорю, пусть все одинаковую прибыль получают, что Алафузов, что я?» – «Правильно, правильно!» – «Не должен ли я, работник, получать столько же, сколько и хозяин, на которого я работаю в поте и труде? Почему неработающий хозяин получит более? Весь барыш должен быть разделен между хозяином и работниками поровну! Правильно ли я говорю, товарищи?» – «Правильно, верно!» – «Теперь настала свобода и уравнение для всех прав, земель и имущества, все делить поровну...» и так далее в том же духе. В заключение, так как он был, вероятно, тоже послан для укрепления фронта, сказал, что для получения всего этого и закрепления революции не надо «пущать» немцев далее в Россию, а надо поддерживать солдатскую и рабочую власть. Она немцев не пустит. Его речь на демагогических выкриках и обращениях к товарищам все время прерывалась одобрением, смехом, гоготаньем и имела несравненно более успеха, чем моя речь. Последний призыв – не «пущать» немцев, – я думаю, запечатлелся у слушателей слабо, а вот что настало время все делить – это запало глубоко, попало на восприимчивую почву. После такого наглядного опыта и слухов о все усиливающейся пропаганде надежда на благополучный исход войны и вера в целесообразность моей миссии у меня подрывалась.

Свою речь и беседу я видоизменял сообразно обстоятельствам и состоянию частей. В штабе дивизии или корпуса я старался предварительно узнать, где и в чем выразилось разложение, и старался попасть в наихудшие в этом отношении части, чтобы помочь по возможности командованию. Командиры охотно и с благодарностью принимали мое предложение, иногда ухватывались за меня и указывали на слабейшие части вверенного им войска.

Так, например, один старый корпусной командир просил меня переговорить с Елецким полком. Он не знает, что с ним делать. Полк прогнал своего командира, который уже неделю здесь у него проживает и не может вернуться в полк, избравший себе молодого командира из ротных командиров. Он познакомил меня с изгнанным командиром, которого аттестовал как заслуженного боевого офицера и образцового требовательного командира полка. Последний, серьезный, симпатичный полковник, говорит мне, что понимает, что после происшедшего он не может командовать полком, но по настоянию начальства должен явиться в полк и принять командование хоть на несколько дней, чтобы в это время можно было вызвать в корпус самозванного командира и назначить командиром полка подходящего человека. Командир корпуса подтвердил мне это и сказал, что старому командиру он даст или другой полк, или бригаду.

Еду не без волнения в Елецкий полк с горячим желанием помочь разрешению конфликта. Подъезжаю к штабу полка, вызываю командира. Отсутствует. Объясняю адъютанту, что необходимо собрать офицеров, и, когда они подходят, предлагаю собрать полк через два часа, а пока я предупредил по телефону соседнюю часть, что приеду на беседу. Офицеры как-то мнутя, говорят между собой: «Как же без командира? Полк разбросан». Вызываю старшего по чину, полковника, объясняю цель моей поездки – объезд фронта по поручению Государственной думы и Временного правительства, что, кроме беседы, никаких исполнительных прав и поручений не имею и именем правительства и с согласия корпусного командира предписываю ему, за отсутствием командира полка, собрать офицеров и солдат полка. «Слушаюсь». (Полк был отведен в резерв.) Поговорив часа полтора с какой-то командой телеграфистов или телефонистов, сильно распропагандированной, возвращаюсь к ельцам. Собралось человек 350—400, очевидно, далеко не весь полк. Потом подошло еще человек 100. Начинаю беседу обычным христосованием. Рассказываю про посещение других частей, про дисциплину казаков, про себя, что я бывший член Думы, что теперь никакой должности и власти не имею, о необходимости додержаться до Учредительного собрания, не нарушая воинский устав и дисциплины, что равносильно предательству, и т. п. Прямо о конфликте с командиром не говорил, и они не касались этой темы, задавая обычные вопросы. Впечатление – среднее, неопределенное. Солдаты как будто остались довольны речью и беседой, под конец держались непринужденно. Перед беседой я поручил офицеру, сопровождавшему меня из корпуса, узнать, где находится выбранный командир полка. Он доложил, что он тут же в домике на опушке леса. Прощаясь с полком, я спросил: «Могу ли я рассказать в Москве и доложить правительству в Питер, что вы не будете слушать вздорных людей, не нарушите свой долг и воинскую дисциплину, что ельцы не сдадут фронт немцам и стойко постоите за Россию и свою свободу?» – «Вестимо постоим, к чему сдаваться», и даже несколько «благодарим покорно». Потом обращаюсь к старшему полковнику: «Потрудитесь провести меня к капитану...» Называю фамилию вновь избранного командира. Заминка. «Не знаю, где он в настоящее время находится». – «А вот в этом доме, – указываю ему, – проведите меня и скажите, что я хочу с ним поговорить». Идем. Входим. Пропускаю полковника. Потом тот выходит, вхожу в комнату я. Трое офицеров пьют чай. «Я хотел бы переговорить с капитаном... наедине». Двое не торопясь, нехотя уходят. Остающийся, совсем молодой человек, стоит, избегает все время смотреть мне в глаза, тупо молчит или неохотно, кратко отвечает. Прошу чаю, с утра ничего не ел. Прямо приступаю к делу, объясняю, что я штатский, без всякой власти над ним, являюсь добровольцем-посредником и обращаюсь к нему как русский человек к русскому и советую ему явиться к командиру корпуса, обещаю исходатайствовать перевод его в другую часть (по чрезвычайности обстоятельств, а не предание суду), а то полк может быть расформирован, он строго ответит, и сотни людей из-за него пострадают. «Ведь я же выбран солдатами, не сам себя поставил», – повторяет он тупо. «Не мне, штатскому, объяснять вам, что вы в корне подрываете дисциплину». – «Если кто и может поддержать в полку дисциплину, так только я, они мне доверяют». – «Но ведь даже приказ № 1 не дает права отстранять и выбирать командиров. Нарушение такое грубое

дисциплины немыслимо в армии; это перекинется на другие части, да и в вашем же полку это послужит началом разложения и вас скоро заменит какой-нибудь демагог писарь или простой солдат». – «Но старого командира полк не пожелает вновь принять». – «Может быть, и сам он не пожелает после всего остаться в полку. Дело не в старом командире, я не знаю и не уполномочен вмешиваться, кто будет назначен, дело в вас, чтобы вы явились с повинной и чтобы старый ли, новый ли командир был назначен законной властью, а не незаконно и самочинно». Молчит. «Такое отношение к службе равносильно, – говорю я, – измене и переходу на сторону противника». – «Но вы уже чересчур...» – «Не чересчур, а такая явная измена менее была бы губительна для русского фронта, чем ваши действия» и т. п. Упорно молчит или тупо твердит свое: «Не я захотел, меня выбрали». – «Почему вы не явились, когда я предложил всем чинам полка явиться на беседу?» – «Я не обязан». – «Так, значит, вы не признаете Временное правительство и Государственную думу?» – «Признаю». – «Ведь их именем и с разрешения командира корпуса я действовал». – «Я не знал» и т. д. Посоветовав ему еще раз явиться в штаб корпуса поскорее, что в его же интересах, пока я оттуда не уеду, я вышел. Около автомобиля толпились офицеры и солдаты. Я прощаюсь с солдатами. «Здравия желаем, ваше превосходительство!» Подаю руку старшему полковнику: «За отсутствием командира полка полковника... обращаюсь к вам как к старшему офицеру полка с пожеланием, чтобы вам и всем офицерам удалось поддержать славу, дисциплину и служение родине Елецкого полка». Он низко кланяется и благодарит. С офицерами отдельно я нарочно не беседовал. По отрывочным фразам отдельных офицеров, когда я только что приехал, я убедился, что между ними разлад и что они кем-то запуганы, вероятно солдатами, как мне казалось по некоторым взглядам и оглядываниям, когда говорили со мной.

Когда мы отъехали, шофер-солдат сказал, что он опасался за мою жизнь, так как солдаты вообразили, что я приехал арестовать их командира, и некоторые имели при себе ручные бомбы во время беседы на этот случай.

На другой день я беседовал с другим полком того же корпуса и уехал от командира корпуса лишь после обеда, так и не узнав, чем все это кончилось. Из Елецкого полка никто не приезжал. Потом уже я где-то слышал, но не поручусь за достоверность, что все-таки выбранного командира как-то удалось устранить, чуть ли не арестовав его.

Нарочно так подробно остановился на этом эпизоде, как характерном, чтобы выявить всю трудность, подчас трагизм положения командования всего через полтора месяца после Февральского переворота.

Посетил я и Гвардейский кавалерийский корпус. Командовал тогда им молодой, бравый генерал Арсеньев. К моему удивлению, я узнал, что это сын К. К. Арсеньева, одного из редакторов «Вестника Европы», с которым приходилось встречаться на общественном поприще. Разложение коснулось уже и гвардии. Из осмотренных мной частей наиболее стойкими оказались казаки, потом кавалерия, потом пехота. Первым из гвардейских полков я посетил Конногвардейский. Я подъезжал к местоположению полка с ехавшим из тыла генералом Гартманом, который уже, неугодный полку, должен был сдать командование им, для чего и приехал. На станции никто из полка его не встретил. Не знаю истории его устранения и не помню, кто его тогда заменил. Беседа моя с чинами полка не представляла ничего особенного, и аудитория была немногочисленна вследствие растяжения линии расположения. Вся кавалерия несла пешую окопную службу, лошади были в обозе. Потом посетил остальные полки. Из петроградских знакомых офицеров встретил немногих, все более была незнакомая уже мне молодежь, а старшие получили или командное назначение в других частях, или были перебиты. Лейб-гвардии Гусарский и Уланский полки были растянуты длинной линией на передовых позициях по реке Стоход, а потому в окопах и в перелесках приходилось беседовать с небольшими группами офицеров и солдат. Никаких эксцессов и резкостей в этих частях не замечалось, но пол-

ковые и другие комитеты уже начали формироваться, и потом, по слухам, разложение быстро пошло и в гвардейских частях.

Война была в этом месте чисто позиционная, перестрелка вялая. Раз только, когда я беседовал под вечер в котловинке с группой улан, нас, вероятно, заметили, несколько снарядов перелетело, а когда они стали ложиться ближе, эскадронный командир просил прекратить беседу, пока не стемнеет.

Много времени отнимали переезды, приходилось ездить и в товарных вагонах и по временной дековильке². Поезда были переполнены. К месторасположению частей ездил обыкновенно на автомобиле, иногда в экипаже, раз верхом. Перед Луцком, где я прожил три дня, выезжая оттуда на фронт, я получил в свое распоряжение маленький ветхий служебный вагон первого класса с двумя-тремя купе, в котором я и жил в Луцке. При переездах этот вагон прицеплялся к пассажирским и товарным поездам. В Луцке, в развалинах старого крепостного замка, мне пришлось выступить на вновь образованном комитете одной из армий, где я встретил московских знакомых.

Полковые и другие комитеты уже повсюду сформировались. Не буду говорить о них подробно: их печальная роль слишком общеизвестна. Иногда председатели и члены комитетов искренне старались помочь командирам частей сохранить фронт. Но по большей части они увлекались властью и своей ролью и, создавая двойственность власти, только портили дело. Но очень часто в комитеты выбирались самые плохие офицеры, демагоги, ухаживавшие за солдатами, чем-нибудь недовольные и озлобленные против своего начальства, которые свое новое положение и власть ставили превыше всего и с самого начала стремились подорвать авторитет командования. Мне приходилось не раз сталкиваться с отвратительными типами честолюбцев, демагогов и авантюристов-офицеров, которых выплеснуло на гребень революционной волны. Наверное, большинство их служат большевикам и преуспевают у них. Армейский комитет в Луцке был сравнительно приличен и интеллигентен.

Таким образом, на фронте я мог наблюдать ту же двойственность, а потому и ослабление власти, что и в Петрограде, и выводы из моего доклада о поездке были печальные.

Впрочем, с начала войны я мало ожидал от нее хорошего, хотя, конечно, такого печального конца с брест-литовским апофеозом, как революция, докатившаяся до большевизма во время военных действий, никак нельзя было ожидать. Уже в начале 1915 года, когда я со своим передовым отрядом Союза городов был в Галиции, на сотни германо-австрийских снарядов мы выпускали десятки, а потом единицы. Снарядов не было. Мы всю зиму проработали в Тарнове на Дунайце под ударами шестнадцатидюймовой «Берты», которая образовывала воронки в десять аршин диаметром, дробила окна, засыпала нас землей и камнями. Несколько раз попал я под ураганный обстрел (раз со священником Востоковым на Дунайце, раз в Карпатах в Горлице, куда можно было из-за обстрела проникнуть только ночью и где через несколько дней произошел известный горлицкий прорыв, положивший начало всему галицийскому отступлению). И нельзя было в таких случаях показаться не только автомобилю, но и пешком, чтоб не быть забросанными снарядами. А у нас, когда Радко-Дмитриев, командующий 3-й армией, объезжал фронт, то все время только и говорил: «Берегите снаряды!» Невольно сопоставлялось с этим треповское «Патронов не жалеть!» на Дворцовой площади. Радко-Дмитриев, беззаветно храбрый боевой генерал, был принужден это делать, так как снарядов у его армии не было. И так во всем. Не буду здесь перечислять недочеты. Даже малостоящих и простых по производству осветительных ракет у нас в начале войны совсем не было, а австрогерманцы целыми ночами освещали ракетами подступы к своим позициям. И ведь это был их второстепенный фронт! И тогда же я пришел к выводу, что при современной военной технике мы, как более отсталые, не можем победить. Как и Турция, тогда еще огромная страна, не могла

² Дековилька – переносная железная дорога с вагонетками (по имени изобретателя, французского инженера Decauville).

в семидесятых годах победить Россию, несмотря на храбрость и выносливость своих солдат и несмотря на многие у нас недочеты. Более культурная Россия не могла в конце концов не сломить отсталой Турции. В современной войне побеждает культурность вообще, в частности развитие промышленности. Виноват не один Сухомлинов, причины более глубокие, их искать надо в русском быте, в русской истории. И по свержении большевиков, чтоб Россия могла занять подобающее ей место, надо будет длительно поднимать до общеевропейского уровня ее промышленность, ее культуру, ее грамотность. Иначе России грозит участь Турции в Европе, то есть она будет оттиснута в Азию.

Последним я посетил по дороге в Киев отведенный в резерв Кавалергардский полк. Половина его стояла в Знаменке. Командир полка Шипов, племянник Д.Н. Шипова, просил меня посетить и другую половину полка на станции Шепетовка, куда мы с ним проехали в моем вагончике.

Всего за восемнадцать дней пребывания на фронте я произнес речи и вел беседу в тридцати трех частях, не считая бесед с маленькими группами телеграфистов, циклистов, железнодорожников и т. п. Так как приходилось говорить иногда перед многотысячной аудиторией, на ветру, при свежей погоде, то в Москву я приехал без голоса.

В Киеве, всем в цвету, прекрасном в весеннюю пору, я пробыл с утра до вечера. Уличная жизнь большого тылового центра была ключом. Масса военных. Проводник моего вагона на мой вопрос, куда он может меня довезти, сказал, что ему ничего на этот счет не известно. Очевидно, я мог бы в нем проехать до Владивостока. Так как все поезда с фронта были переполнены, то решил его задержать еще на сутки и доехать до Москвы. Ввиду того, что вагон был крохотный, его охотно прицепили к скорому поезду. По дороге в Москву пришлось быть все время в осадном положении. Солдаты взобрались на крышу, сидели на ступеньках, ломались с руганью внутрь. Напрасно проводник увещевал, говоря, что вагон служебный. Ни разу не пришлось выйти из вагона. К счастью, со мной была провизия. За кипятком, хлебом и прочим проводник ухитрился как-то вылезать через окно служебного отделения. В Брянске солдаты ворвались в коридор, но их удалось удалить, и они заняли уборную и тормозные коридорчики. Двери в коридор пришлось забаррикадировать досками так, чтобы ручки не отворялись. Всю ночь стучали в двери, в окна, на крыше, ругались, что не выпускают. На станциях мы все шторы спускали. Стекла в выходных дверях оказались разбитыми. В Москве я не торопился выйти, пока не разошлись мои внешние неприятели, покидавшие фронт, но храбро взявшие приступом мой вагон. Этим тревожным путешествием окончилась моя поездка на фронт, с речами и уговариванием беречь фронт! Чем я не маленький Керенский? На вокзале меня узнал приехавший тем же поездом солдат, часть которого я посетил. Он меня благодарил, говоря, что очень уж я хорошо, благородно все им объяснил, что очень мною солдаты остались довольны. «Куда же едете? – «Домой, на Волынь». – «В отпуск или совсем?» – «Какой отпуск, еду домой. Все едут, чего же мне оставаться. Сказывают – мириться теперь будут».

Очевидно, те, которые говорили менее «благородно», добились более реального успеха, чем я.

Доклад и мешок с Георгиевскими крестами я представил в комиссию Государственной думы. Доклад был очень подробный, с цифрами, с копиями документов из штабов частей, с просьбами, с мнениями командиров. Если и другие делегаты представили подобные же доклады, то картина всего фронта в данный момент получилась бы очень яркая. Копию доклада я отвез в Военное министерство Гучкову, но не думаю, чтобы кто-нибудь прочитал даже целиком мой доклад, кончавшийся определенными тезисами. Общий же вывод был аналогичен московской резолюции: необходимость восстановления авторитета и власти офицера и устранение двоевластия.

Глава 3

Преддверие большевизма и Октябрьский переворот. 1917 год (Москва и Московская губерния)

Летом 1917 года большею частью я жил в Москве, наезжал в деревню в Рузском уезде, ездил раза три в Петроград на различные совещания, а также на заседания Центрального комитета и на съезд К.-д. партии. В Петрограде митинги уже происходили на улице. Излюбленное место для типичных солдатских митингов было Конногвардейский бульвар. Никакой должности я не занимал и не стремился к этому, а когда партия наметила меня в Предпарламент, то отказался, так как не предавал ему никакого значения, выставив свою кандидатуру в Учредительное собрание, которое должно было вывести Россию из состояния почти анархического. Министры менялись, власть их постепенно умалаялась, власть Совета рабочих и солдатских депутатов все росла, фронт окончательно разваливался, большевизм креп, становился на ноги, расправлял свои корявые члены.

В Московском кадетском клубе в Брюсовском переулке целый день кипела работа. Предвыборная кампания в Учредительное собрание сосредоточивалась здесь на всю Россию. Происходили ежедневно большие и малые заседания. Изготавливались и рассылались плакаты и листовки, посылались лекторы и проч. Работало много молодежи. Энергично, как и всегда, работал Н.М. Кишкин, неутомимый организатор. Он уже в это время был комиссаром Москвы и успевал из Чернышевского переуллка заезжать в наш клуб. Человек исключительной энергии и работоспособности, в государственном масштабе он оказался слаб. Общая трагедия русской интеллигенции! Государственного инстинкта в нем не было, и его соглашательские тенденции даже в то время смущали москвичей и осуждались.

Остановлюсь подробнее на этом примере, как характерном, тем более что Кишкин очень хороший человек и мой старый политический приятель и соратник. Когда он был назначен комиссаром, то Московский Совет рабочих и солдатских депутатов уже завладел генерал-губернаторским домом на Тверской и Кишкину пришлось расположиться во флигеле, в канцелярии в Чернышевском переулке. Но этого мало. Совет рабочих и солдатских депутатов захватывает себе и соседнюю гостиницу «Дрезден». Владелец ее Андреев жалуется Кишкину. Без последствия. Андреев доходит до Временного правительства, и даже оно удовлетворяет его просьбу. Кишкин и не думает даже привести в исполнение решение высшей власти! Совет не выселяют, и Андреева за захват никто не вознаграждает. Еще пример. Служащие «Мюр и Мерилиз» предъявляют владельцам неисполнимые и не выдерживающие коммерческого расчета требования. Кишкин предписывает удовлетворить эти требования, и за неисполнением его магазин закрывается, и все служащие оказываются безработными. Дворники предъявляют свои требования. Кишкин назначает обязательное минимальное жалованье дворникам в 100 рублей в месяц. А ведь в Москве еще вне Садовой много деревянных домишек уездного типа, владельцы которых, мещане и ремесленники, не в состоянии этого платить, и – массовое увольнение дворников, причем они не соглашаются съехать. И так все. Соглашательство, расстройство экономической жизни и – прогрессирующий паралич власти. Сам Кишкин работает всюду, заставляет работать других. Эта работа удовлетворяет его энергичную натуру, ему кажется, что благодаря этой работе весь механизм начинает работать... Но энергия его не может восполнить отсутствия административного навыка и инстинкта государственности. Он до конца верит в Керенского. Я опасался, что Кишкин попадет в министры внутренних дел.

Впрочем, он был бы во всяком случае не худшим министром внутренних дел, чем Авксентьев. Двоевластие, а потому и безвластие, и чрезмерное соглашательство по всему фронту

– в правительстве, в армии, внутри страны. Ансамбль не нарушался. О роли и деятельности городской думы говорить не буду, так как я не городской деятель и не непосредственный наблюдатель. О ней много писалось и еще будет написано.

Центральный комитет К.-д. партии постоянно собирался и, между прочим, обсуждал кандидатуру министров из партии, когда те сменялись. Интересный исторический материал представляли бы протоколы заседаний, если они сохранились, как потом и на юге России. В них запечатлелись тогдашние события в переживаниях политического центра. Ушел Львов, ушел Милюков, или, скорее, как теперь почему-то безграмотно говорится, – их «ушли». Они были слишком правыми.

Тогда началось первое серьезное расхождение Милюкова с партией. Когда он вышел из правительства, ему и некоторым другим казалось, что партия более не должна участвовать в правительстве. Большинство же находило, что раз мы приняли в критический момент участие во временной верховной власти, то и взяли на себя часть ответственности довести страну до Учредительного собрания, и что мы не должны дезертировать в трудный момент, хотя бы в чисто партийном отношении это было бы и выгодно. И мы вновь посылали министров, но уже без энтузиазма, как бы на заклятие. Некоторые нехотя принимали пост после долгих колебаний, подчиняясь партийной дисциплине, но были и решительные отказы.

Помню, после одного такого заседания мы приехали с Шингаревым, министром финансов, в редакцию «Русских ведомостей». Там состоялось совещание с сотрудниками газеты (каковыми были и мы с Шингаревым) по поводу проектируемых Шингаревым для пополнения казны казенных монополий. Он энергично защищал их. Редакция высказывалась столь же энергично против, и потом все время газета вела кампанию против монополий.

Теперь, весной 1926 года, аналогичный вопрос поднят во Франции министром финансов Родлемом Пере и дебатруется в палатах. Кстати: призыв Эрио и других членов левого картеля идти на выборах с коммунистами против национального блока, почему коммунисты и побеждают иногда на выборах, напоминает выборный блок с.-р.³ и меньшевиков с большевиками при выборах в Учредительное собрание.

Ненадолго уезжал я в деревню. И тут в г. Рузе я участвовал на двух митингах на Городке, на высоком холму, обнесенном старинным валом, над рекой с чудным видом. Здесь я, во время моего предводительства, устроил от попечительства трезвости музей, читальню, гимнастический зал и прочее и превратил площадку городка в парк, вал – в бульвар. Эти собрания в нашем тихом, нефабричном уезде уже происходили очень бурно, главным образом благодаря солдатам, пришедшим из Клементьевского артиллерийского лагеря, и нескольким московским рабочим. Первое собрание они даже сорвали в начале моей речи галдежом и выкриками и не дали мне говорить, что очень смутило и возмутило горожан, привыкших видеть во мне в течение пяти трехлетий предводителя. Но через две недели я вновь устроил собрание и провел его до конца.

Уже при большевиках в 1918 году в Москве на улице остановил меня один человек и сказал, что он с.-р. и срывал мой митинг в прошлом году в Рузе, а вот теперь оба мы пострадали. И я и он попали в тюрьму. «Кто бы мог ожидать?» Я ему возразил, что я как раз тогда на митингах предупреждал и остерегал социалистов от поддержки большевиков. В моих же оппонентах в Рузе по приемам и речам нельзя было отличить социалистов от коммунистов. В Москве собрания, иногда бурные, происходили все-таки в лучших условиях. И в Москве мне пришлось на одном собрании пережить несколько неприятных минут из-за Милюкова. Я поехал на большой мусульманский, преимущественно татарский съезд в Замоскворечье для приветствования съезда от К.-д. партии. Говорю краткое приветствие и о взглядах партии на права национального самоопределения народностей. Жиденькие аплодисменты. Когда иду через залу обратно,

³ С.-р. – социалисты-революционеры, эсеры.

то поднимается шум, вижу под ермолками возбужденные, даже свирепые лица и угрожающие жесты.

Провожающие меня смущенные члены президиума, среди которых был и член Государственной думы к.-д., объясняют, что это манифестируют фанатики-панисламисты криками «Проливы! Милюков!», протестуя против известного заявления Милюкова о Константинополе и проливах. Они вступились за единоверную Турцию.

В Москве начиналась дороговизна, но городская жизнь шла своим чередом. Вечером часто бывал в Английском клубе, сжато лазаретом с начала войны в двух комнатах. Игра в карты и на бильярде продолжалась.

В деревне в конце лета начался бандитизм. В нашем мирном уезде по соседству с нами в селе Дуброве убили и ограбили священника и его жену. Он был добросовестным законоучителем в земской школе, в которую я часто заезжал. На похороны съехались священники с половины уезда, большинство которых я тоже хорошо знал как законоучителей. Настроение на поминках было мрачное, тревожное.

Помню, что я приехал в шарабане с кучером Сергеем, пятидесятилетний юбилей службы которого у нас на конюшне предстояло в этом году отпраздновать. Жив ли он? Он был замечательный троечник. Но всех моих лучших лошадей постепенно позабирали на войну, а у меня были доморощенные чистопородные лошади, полукровные пристяжки, призовые одиночки и тройки. Последний конский набор был особенно опустошителен, и члены комиссии – крестьяне особенно настаивали на заборе у меня кровных лошадей, не всегда для тяжелой работы, особенно без подготовки, пригодных. И на этот раз я ехал в шарабане на одиночке, или на старой заводской матке, или на невтянувшейся еще трехлетке.

На исходе лета я урвался на десять дней в Кисловодск, прелестный, освежительный со своим парком, нарзаном и Подкумком. Народу была масса из-за отсутствия во время войны заграничных курортов. Курзал переполнен.

В Москву приехал прямо на Государственное совещание, бывшее в середине августа в Большом театре. Керенский был тогда на зените своей популярности. Я слышал, как в трамвае две барышни с восторгом говорили: «Я встретила Керенского, едет в автомобиле...» – «А я вчера встретила его два раза!» О совещании скажу кратко, оно у всех на памяти, и много свидетелей живы, которые писали и будут писать о нем.

Двойственность, царившая в России повсюду и все усиливающаяся, наглядно была представлена двумя секторами партера. Один стоял за оберегание государственности, другой, социалистическо-большевистский, все делал для ее крушения. Бурные сцены с депутатом-казакон Карауловым и с раненым офицером. На сцене появляются бурно приветствуемые нашим сектором и большинством публики в ярусах генералы Алексеев, Корнилов. Первый говорит мягко, примирительно, последний – категорично, по-военному отчеканивая фразы. Левый (сидящий справа) сектор свистит, неистовствует. Милюков обвиняет правительство в слабости и к концу речи обрушивается на министров Чернова и... Авксентьева, с которым потом в Париже он все блокировал. Как всегда, своеобразную и язвительную речь произнес Шульгин. За мной ерзает на своем месте Пуришкевич, недовольный тем, что ему не дали слова, и подающий реплику с места. Кооператор Беркенгейм от имени нескольких миллионов кооператоров торжественно присоединяется к декларации гражданина Чхеидзе. За Керенским смешно и театрально все время стоят два адъютанта в морской форме. Он председательствует резко, нервно. Правый и левый сектора – два враждебных лагеря, слышны подчас насмешки, перебранка, иногда сопровождаемая жестами, сжатыми кулаками. Ненависть между обоими секторами, конечно, сильнее, чем у воюющих в то время между собой русских и немцев. На наш сектор особенно гадливое впечатление производит самодовольный, ухмыляющийся селянский министр Чернов, окруженный во время перерыва депутатами-крестьянами. Какая-то чуйка фамильярно хлопает его по плечу. Особенная ненависть на левом секторе к офицерству. Я сам слышал, когда про-

ходил офицер из Союза георгиевских кавалеров без руки, солдатский депутат, кто-то крикнул оттуда: «Оторвать бы ему и другую руку!» Вообще, Государственное совещание, которое должно было найти общий язык, объединить страну, подпереть колеблющуюся власть, оказалось антигосударственным митингом, показавшим взаимное озлобление и непримиримость, подчеркнувшим бессилие барахтающегося между двумя течениями, тонущего правительства. В виде демонстрации истории революции, как характеризовал это Керенский, – речи Крапоткина, Плеханова, Брешко-Брешковской. Символическое рукопожатие представителей двух секторов – Бубликова и Церетели, оказавшееся лжепророчеством.

Керенский начал свою заключительную речь твердо, со своими обычными паузами и обрываниями, срывая иногда аплодисменты и на нашем секторе. Но сидевшие за мной некоторые члены 4-й Думы, из которых я мало кого знал, злобно шипели: «Фигляр! Шарлатан!» Потом Керенский как-то вдруг сдал, и это в момент, когда он, очевидно, хотел себя проявить диктатором. Он заговорил что-то о железе и крови, к которым прибегнет, если хотят этого. Какой-то женский голос сверху крикнул: «Не надо, Александр Федорович!» Керенский в изнеможении опускается на кресло и умолкает. Театральный жест не удался. Общее смущение. Министры и публика начинают подниматься, чтобы уходить. Родзянко из первого ряда говорит все сидящему на сцене за столом Керенскому: «Александр Федорович, вы забыли закрыть совещание». Керенский объявляет Государственное совещание закрытым. Был ли это припадок, которыми, кажется, страдал Керенский, или результат переутомления? Но финал не скрасил заседания, и все вместе не могло успокоить страну.

Наш сектор имел много пофракционных и объединенных совещаний и докладов в аудиториях университета, между прочим, с генералами. Левые тоже где-то собирались.

При приезде Корнилова с фронта толпа, кажется большею частью офицеры, его восторженно встретила и вынесла с Александровского вокзала на руках.

Так как партия меня выставила кандидатом в Учредительное собрание по Московской губернии, то с сентября я начал объезд уездных городов и до переворота успел побывать на собраниях в большинстве уездов. В помощь себе я обыкновенно брал одного из выдававшихся ораторов среди нашей студенческой фракции.

В Москве шла отчаянная борьба. Постоянные собрания. Но, насколько помню, уличных митингов еще не было. Был последний месяц перед большевистским переворотом. Большевики при помощи социалистов все более наседали. На Страстной и Арбатской площадях через улицу были протянуты полотнища с призывом голосовать за объединенный список с.-р., с.-д.⁴ меньшевиков и с.-д. большевиков. Это объединение и помощь социалистов в проведении большевизма не должны быть забыты.

В Подольске на предвыборном собрании я встретил сплоченную оппозицию в лице рабочих фабрики «Зингер» и цементного завода. В одном из фабричных центров – г. Богородске, где морозовская и много других фабрик, – на собрании у рабочих имел большой успех приехавший из Москвы анархист. После наших речей он взял слово для возражения, стал меня высмеивать и паясничать, смеша аудиторию. Меня поддерживали всюду торговцы, обыватели и местные к.-д. – интеллигенты. Собрания устраивали местные уездные комитеты нашей партии. Как эти два собрания, так и остальные прошли все-таки в общем удачно и по отзывам местных к.-д. производили хорошее впечатление. Мне с молодыми моими коллегами не трудно было возражать, а иногда припираться к стене местных социалистов.

Когда я вечером ехал в Москве на вокзал для поездки в середине октября в Верею и Можайск, то уже слышались отдельные ружейные выстрелы. По слухам, в Петрограде Временное правительство пало. На следующее утро приходит ко мне в Верею (верст 30 от железной дороги) пожилой комиссар города и просит отменить собрание во избежание беспорядков. По

⁴ С.-д. – социал-демократы.

его сведениям, в Москве идет бой. А афиши уже были расклеены по городу. Я настаиваю на неотмене собрания в маленькой Верее, ссылаясь на свой опыт и на то, что и в фабричных городах собрания прошли благополучно. Он уверял, что с наро-фоминской фабрики в Верею направляется толпа рабочих, чтобы сорвать собрание, и беспорядок может перекинуться на улицу. Как я ни возражал, пришлось подчиниться распоряжению растерявшегося начальства, и я уехал в Можайск. Я уверен, что собрание прошло бы благополучно.

Так как я приехал ночью, то до утра дремал, сидя в буфете вокзала. Из Москвы действительно шли тревожные вести.

В Можайске собрание прошло очень гладко, несмотря на присутствие железнодорожных рабочих и служащих.

В Москву я приехал поздно вечером. Александровский вокзал оказался уже во власти большевиков, которые никого не пропускали ночью в город. Пришлось опять переночевать, сидя в буфете переполненного вокзала. Ночью я выходил несколько раз на площадь. Вокзал был оцеплен редкой цепью большевиков, как мне казалось, из фабричных рабочих. Слышались редкие выстрелы. Виднелось зарево около храма Спасителя, где я живу. Разговаривал с большевиками и с вокзальной публикой. Оказывается, были уже кровопролитные бои, пожары. Кремль и центр города еще не взяты.

На следующее утро, часов в 9, когда обыкновенно уже бывает движение, иду с вокзала, хотя меня уверяют, что пройти в город не удастся. Слышна сильная ружейная стрельба и редкая орудийная. Стараюсь идти переулками, избегаю площадей. Все магазины заперты. На улицах почти никого. У встречных солдат и вооруженных штатских красные банты или повязки. К Никитской площади не мог подойти: там сильная ружейная и пулеметная трескотня. На Кудринской площади тоже. Из приотворенных ворот и дверей боязливо выглядывают любопытные. Переулками пересекаю Никитскую, Поварскую, Арбат. Через большие улицы стараюсь пройти скорее, когда никого не заметно. Хотя выстрелы близко, но не было заметно, где проходит боевая линия. Около Поварской заметил молодых людей уже с белой повязкой. Объясняют мне, что организовалась не то оборона, не то охрана. Оказывается, что я уже в стане белых. Не советуют идти на Арбатскую площадь, где Александровское военное училище и штаб полковника Рябцова, так как она сильно обстреливается из орудий. А мой дом рядом с Александровским училищем. Пошел на Сивцев Вражек, пересек Пречистенский бульвар и попал наконец к себе в дом с наглухо закрытыми воротами.

Оказывается, все сидят по домам, на улицу не выходят. Наши запаслись кое-какой провизией. Когда канонада стихает, бегают за подкреплением в дома, где есть лавки, хотя с улицы они заперты. Не помню, действовало ли электричество.

Так как наш дом рядом с Александровским училищем, контрреволюционным штабом, то в него и в обширную при нем усадьбу попадало много снарядов, несколько десятков. Бьют, как говорят, с Воробьевых гор. Но повреждения не велики: пробита крыша в нескольких местах, снесена труба, повреждены каменные ворота. Раз, когда мы сидели у себя внизу, послышался наверху сильный разрыв снаряда, напомнивший мне «Берту» в Тарнове. Оказывается, снаряд влетел в трубу и разорвался в ней. Вся комната во втором этаже, в которой никого не было, была в копоты и усыпана щебнем. Несколько раз, когда я выходил, картечки, утерявшие живую силу (вероятно, от рикошета), обсыпали меня и катились по асфальту двора.

Контрреволюционный район все сужался. Главными цитаделями его были Кремль, который тоже обстреливался, и Александровское училище. Несколько раз в эти дни ходил днем по совершенно пустынным улицам к знакомым на Моховую и на Арбат. Целые дни и часть ночи проводил в Александровском училище, где царило большое оживление. Приходили части, посылались, формировались. Было в этих частях много офицеров и молодежи, юнкера, кадеты, добровольцы. Наверно не помню, кажется, были и регулярные части. Полковника Рябцова, который был или оказался комендантом Москвы, обвиняли в нерешительности и нераспоря-

дительности. Его защищал и поддерживал оказавшийся в Москве член Временного правительства Прокопович. Бедному С.Н. Прокоповичу, который тоже постоянно бывал в Александровском училище, приходилось принимать участие в решениях стратегических вопросов. Мне тоже тогда казалось, что Рябцов был не на высоте положения, но, может быть, он был и прав, не предпринимая решительных действий. Мне было не ясно соотношение сил. Когда в конце концов Рябцов сдал Москву большевикам, то он, поддерживаемый Прокоповичем и другими, считал, что не следует зря вести на убой молодые жизни. На стороне большевиков был почти весь гарнизон. Большинство же полагало, что следует биться до конца и под конец сделать попытку пробиться навстречу казакам, прибытия которых ждали с Дона. Недовольство против Рябцова все росло. Иногда казалось, что его низложат и выберут другого командующего. До чего была тяжелая атмосфера, показывает следующий случай. Бывал в Александровском училище и один служащий в правительстве, кажется, товарищ министра. Он при всех говорил, что Рябцов не годится, что он действует лишь в интересах большевиков и т. п. Тогда, наконец, Прокопович сказал ему, что он, как служащий в правительстве, не имеет права так действовать и что если он будет продолжать это, то он, Прокопович, дезавуирует его. Но и дезавуация бедного Прокоповича тогда уже не была страшна. Кроме того, на психику офицеров, несомненно, удручающе действовала мысль: умирать за кого, за Керенского? А его они презирали и ненавидели. В огромных залах-дортуарах верхнего этажа, кое-где поврежденных снарядами, происходили беседы и совещания у отдохавших частей. Произносились зажигательные, воодушевляющие речи, также и скептические, указывающие на малочисленность обороняющихся сравнительно с большевиками. Опасались, и это было вполне возможно, что были в училище и подсланные большевиками. На военных совещаниях у Рябцова в нижнем этаже я не был, но участвовал с ним и с другими в беседах и каких-то совещаниях. Поезда, оказывается, ходили. Молодой Арсеньев (сын С. Арсеньева) взялся и поехал на Дон «торопить казаков» идти на выручку Москвы (!). Тогда все, помню, и в Рузе были уверены в скорой помощи казаков, как потом чехословаков из Сибири. Мне удалось отправить с бумагой Рябцова в Тверь в Кавалерийское училище молодого А. Гутхейля, с просьбой прислать юнкеров. Но все это оказалось поздно.

Между тем защитники Москвы проявляли геройские подвиги. Орудий у нас не было и очень мало пулеметов. Большой вопрос – недостаток патронов. Иногда они были совсем на исходе. Тогда было предпринято несколько отчаянных вылазок: вооруженные люди ехали на нескольких грузовиках, прорывались в стан неприятеля, подъезжали неожиданно к их казармам или складам, захватывали патроны и привозили в Александровское училище. Раз проезжая мимо генерал-губернаторского дома, такой бронированный автомобиль обстрелял его с заседавшим там Советом рабочих и солдатских депутатов из пулеметов. Поздно ночью, когда канонада прекращалась, возвращался я из Александровского училища домой.

Ужасная, но порой странная вещь гражданская война в большом городе. В доме у нас толпилась наша молодежь. Но подчас она развлекалась, играла, пела. Я поощрял это и заставлял племянницу петь цыганские романсы. Помню еще такой случай. Из окон Александровского училища мы наблюдали, как через постоянно обстреливаемую Арбатскую площадь пробегала из церкви обвенчавшаяся парочка, она в белом, и за ними несколько человек. Жизнь пробивалась и под обстрелом. Очевидно, не хотели упустить время перед Рождественским постом. Конечно, огромная часть жителей, как и всегда, проявляла обывательскую трусость, преувеличивая опасность и ужасно пострадав впоследствии от этой трусости.

Петроград уже пал. В одну прекрасную ночь защитники должны были покинуть Кремль, а к утру Рябцов сдал большевикам Александровское училище, под условием свободного выхода из него всех. Правильно ли он поступил? В военное время его судили бы, как Стесселя.

Просыпаюсь поздно, нет обычной канонады. Мир. Можно свободно ходить по улицам. Открываются магазины. На следующий день свежий хлеб. Вместе с испытываемую горечью

я понимаю обывательское настроение и... удовлетворение после осадного положения. Ведь каково было сидеть несколько дней со скудным уменьшающимся запасом продовольствия, не выходя на улицу и дрожа за свою драгоценную жизнь. Да, признаюсь, и я с удовольствием шел по ожившим вдруг улицам, вчера еще мертвым, где приходилось жаться к стенам и спешно перебегать улицу. Обывательская поговорка «Худой мир лучше доброй ссоры» познается, когда обыватель испытывает войну, да еще не хорошую, на своей шкуре, на своем желудке, и она происходит не где-то там далеко, на фронте, а тут же рядом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.